

pocket**book**



rocket**book**

Марина ЦВЕТАЕВА

Повесть о Сонечке



Москва  
2023

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ц27

В оформлении обложки использована картина  
художника *Чарльза Кортни Карана* (1861—1942)

**Цветаева, Марина Ивановна.**

Ц27 Повесть о Сонечке / Марина Цветаева. —  
Москва : Эксмо, 2023. — 256 с.

ISBN 978-5-04-187566-4

Марина Цветаева — поэт трагической судьбы и необычного дарования. Она известна не только как автор стихотворений и поэм, но и прозы, также несущей печать ее особенной индивидуальности. Действие «Повести о Сонечке» происходит в голодной послереволюционной Москве. Герои повести — актриса Софья Голлидэй, артист Ю. Завадский, поэт П. Антокольский и, конечно, сама неподражаемая Марина Цветаева. «Повесть о Сонечке» — последнее прозаическое произведение Марины Цветаевой. Написанное в 1937 году после известий о смерти близкой подруги, актрисы Софьи Голлидэй, оно возвращает Цветаеву в Москву 1919—1920 годов. В цепочке воспоминаний о жизни московской богемы на фоне социальных потрясений, сопровождаемых естественными хронологическими сдвоями и повторами, Цветаева проникновенно оплакивает конец Серебряного века.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-187566-4

© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2023

## Часть первая

### ПАВЛИК И ЮРА

Elle était pâle — et pourtant rose,  
Petite — avec de grands cheveux...<sup>1</sup>

**Н**ет, бледности в ней не было никакой, ни в чем, все в ней было — обратное бледности, а все-таки она была — *pourtant rose*, и это своеместно будет доказано и показано.

Была зима 1918 г. — 1919 г., пока еще зима 1918 г., декабрь. Я читала в каком-то театре, на какой-то сцене, ученикам Третьей студии свою пьесу «Метель». В пустом театре, на полнотной сцене.

«Метель» моя посвящалась: — Юрию и Вере З., их дружбе — моя любовь. Юрий и Вера были брат и сестра, Вера в последней из всех моих гимназий — моя соученица: не одноклассница, я была классом старше, и я видела ее только на перемене: худого кудрявого девического щенка, и особенно помню ее длинную спину с полуразвитым жгутом волос, а

---

<sup>1</sup> Она была бледной — и все-таки розовой, Малюткой — с пышными волосами (*фр.*).

из встречного видения, особенно — рот, от природы — презрительный, углами вниз, и глаза — обратные этому рту, от природы смеющиеся, то есть углами вверх. Это расхождение линий отдавалось во мне неизъяснимым волнением, которое я переводила ее красотой, чем очень удивляла других, ничего такого в ней не находивших, чем безмерно удивляли — меня. Тут же скажу, что я оказалась права, что она потом красавицей — оказалась и даже настолько, что ее в 1927 г., в Париже, труднобольную, из последних ее жил тянули на экран.

С Верой этой, Вере этой я никогда не сказала ни слова и теперь, девять лет спустя школы надписывая ей «Метель», со страхом думала, что она во всем этом ничего не поймет, потому что меня наверное не помнит, может быть, никогда и не заметила.

(Но почему Вера, когда Сонечка? А Вера — корни, доистория, самое давнее Сонечкино начало. Очень коротенькая история — с очень долгой доисторией. И поисторией.)

Как Сонечка началась? В моей жизни, живая, началась?

Был октябрь 1917 г. Да, тот самый. Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я еха-



Пахнуло Пушкиным: теми дружбами. И сверху — ответом:

— Он очень похож на Пушкина: маленький, юркий, курчавый, с бачками, даже мальчишки в Пушкине зовут его: Пушкин. Он все время пишет. Каждое утро — новые стихи.

Инфанта, знай: я на любой костер готов взойти,  
Лишь только бы мне знать,

что будут на меня глядеть

Твои глаза...

— А этот — из «Куклы Инфанта», это у него пьеса такая. Это Карлик говорит Инфанте. Карлик любит Инфанту. Карлик — он. Он, правда, маленький, но совсем не карлик.

...Единая под множеством имен...

---

Первое, наипервейшее, что я сделала, вернувшись из Крыма — разыскала Павлика. Павлик жил где-то у Храма Христа Спасителя, и я почему-то попала к нему с черного хода, и встреча произошла на кухне. Павлик был в гимназическом, с пуговицами, что еще больше усиливало его сходство с Пушкиным-лицеистом. Маленький Пушкин, только — черноглазый: Пушкин — легенды.

Ни он, ни я ничуть не смутились кухни,

нас толкнуло друг к другу через все кастрюльки и котлы — так, что мы — внутренно — звякнули, не хуже этих чанов и котлов. Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.)

Простояв в магическом столбняке — не знаю сколько, мы оба вышли — тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами...

Словом, Павлик пошел — и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок. Сидел дни, сидел утра, сидел ночи... Как образец такого сидения приведу только один диалог.

Я, робко: — Павлик, как вы думаете — можно назвать — то, что мы сейчас делаем — мыслью?

Павлик, еще более робко: — Это называется — сидеть в облаках и править миром.

---

У Павлика был друг, о котором он мне всегда рассказывал: Юра З. — «Мы с Юрой... Когда я прочел это Юре... Юра меня все спрашивает... Вчера мы с Юрой нарочно громко целовались, чтобы подумали, что Юра, наконец, влюбился... И подумайте: студийцы высказывают, а вместо барышни — я!!!»

В один прекрасный вечер он мне «Юру» — привел. — А вот это, Марина, мой друг — Юра З. — с одинаковым напором на каждое слово, с одинаковым переполнением его.

Подняв глаза — на это ушло много времени, ибо Юра не кончался — я обнаружила Верины глаза и рот.

— Господи, да не брат ли вы... Да, конечно, вы — брат... У вас не может не быть сестры Веры!

— Он ее любит больше всего на свете!

Стали говорить Юрий и я. Говорили Юрий и я, Павлик молчал и молча глотал нас — вместе и нас порознь — своими огромными тяжелыми жаркими глазами.

В тот же вечер, который был — глубокая ночь, которая была — раннее утро, расставшись с ними под моими тополями, я написала им стихи, им вместе:

Спят, не разнимая рук —  
С братом — брат, с другом — друг.  
Вместе, на одной постели...

Вместе пили, вместе пели...

Я укутала их в плэд,  
Полюбила их навеки,  
Я сквозь сомкнутые веки  
Странные читаю вести:  
Радуга: двойная слава,  
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу!  
Лучше буду, лучше буду  
Полымем пылать в аду!

Но вместо полымя получилась — Метель.

Чтобы сдержать свое слово — не разводите *этих* рук — мне нужно было свести в своей любви — другие руки: брата и сестры. Еще проще: чтобы не любить *одного* Юрия и этим не обездолить Павлика, с которым я могла только «совместно править миром», мне нужно было любить Юрия плюс еще что-то, но это что-то не могло быть Павликом, потому что Юрий плюс Павлик были уже данное, — мне пришлось любить Юрия плюс Веру, этим Юрия как бы рассеивая, а на самом деле — усиливая, сосредоточивая, ибо все, чего нет в брате, мы находим в сестре и все, чего нет в сестре, мы находим в брате. Мне досталась на долю ужасно полная, невыносимо полная любовь. (Что Вера, больная, в Крыму и ничего ни о чем не знает — дела не меняло.)

Отношение с самого начала — стало.

Было молча условлено и установлено, что они всегда будут приходить вместе — и вместе уходить. Но так как ни одно отношение сразу стать не может, в одно прекрасное утро телефон: — Вы? — Я. — А нельзя ли мне когда-нибудь прийти к вам *без* Павлика? — Когда? — Сегодня.

(Но где же Сонечка? Сонечка — уже близко, уже почти за дверью, хотя по времени — еще год.)

Но преступление тут же было покарано: нам с З. наедине было просто скучно, ибо о главном, то есть мне и нем, нем и мне, нас, мы говорить не решались (мы еще лучше вели себя с ним наедине, чем при Павлике!), все же остальное — не удавалось. Он перетрагивал на моем столе какие-то маленькие вещи, спрашивал про портреты, а я — даже про Веру ему говорить не смела, до того Вера была — он. Так и сидели, неизвестно что высиживая, высиживая единственную минуту прощания, когда я, проводив его с черного хода по винтовой лестнице и на последней ступеньке остановившись, причем он все-таки оставался выше меня на целую голову, — да ничего, только взгляд: — да? — нет — может быть, да? — пока еще — нет — и *двойная* улыбка: его восторженного изумления, моя — нелегкого торжества. (Еще одна такая победа — и мы разбиты.)

Так длилось год.

Своей «Метели» я ему тогда, в январе 1918 г., не прочла. Одарить одиноко можно только очень богатого, а так как он мне за наши долгие сидения таким не показался, Павлик же — оказался, то я и одарила его Павлика —

в благодарственную отместку за «Инфанту», тоже посвященную не мне — для Юрия же выбрала, выждала самое для себя трудное (и для себя бы — бедное) чтение ему вещи перед лицом всей Третьей студии (все они были — студийцы Вахтангова, и Юрий, и Павлик, и тот, в темном вагоне читавший «Свободу» и потом сразу убитый в Армии) и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех — бога и отца-командира.

Ведь моей целью было одарить его возможно больше, больше — для актера — когда людей больше, ушей больше, очей больше...

И вот, больше года спустя знакомства с героем, и год спустя написания «Метели» — та самая полная сцена и пустой зал.

(Моя точность скучна, знаю. Читателю безразличны даты, и я ими врежу художественности вещи. Для меня же они насущны и даже священные, для меня каждый год и даже каждое время года тех лет явлен — лицом: 1917 г. — Павлик А., зима 1918 г. — Юрий З., весна 1919 г. — Сонечка... Просто не вижу ее вне этой девятки, двойной единицы и двойной девятки, перемежающихся единицы и девятки... Моя точность — моя последняя, посмертная верность.)

Итак — та самая полная сцена и пустой зал. Яркая сцена и черный зал.

С первой секунды чтения у меня запылало лицо, но — так, что я боялась — волосы загорятся, я даже чувствовала их тонкий треск, как костра перед разгаром.

Читала — могу сказать — в *алом* тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом — как пьют! — но и как поют! — самым певучим, за сердце берущим из своих голосов.

...И будет плыть в пустыне графских комнат  
Высокая луна.

Ты — женщина, ты ничего не помнишь,  
Не помнишь...

(настойчиво)

не должна.

Странице — сон.

Страннику — путь.

Помни! — Забудь.

(Она спит. За окном звон безвозвратно удаляющихся бубенцов.)

Когда я кончила — все сразу заговорили. Так же *полно* заговорили, как я — замолчала. — Великолепно. — Необычайно. — Гениально. — Театрально — т. д. — Юра будет играть Господина. — А Лиля Ш. — старуху. — А Юра С. — купца. — А музыку — те самые безвозвратные колокольчики — напишет Юра Н. Вот только — кто будет играть Даму в плаще?

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза: — *Ты* — не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги короткие.)

(Я, молча: — Дама в плаще — моя душа, ее никто не может играть.)

Все говорили, а я пылала. Отговорив — заблагодарили. — За огромное удовольствие... За редкую радость... Все чужие лица, чужие, т. е. ненужные. Наконец — он: Господин в плаще. Не подошел, а отошел, высотой, как плащом, отъединая меня от всех, вместе со мною, к краю сцены: — Даму в плаще может играть только Верочка. Будет играть только Верочка. *Их дружбе — моя любовь?*

— А это, Марина, — низкий торжественный голос Павлика, — Софья Евгеньевна Голлидэй, — совершенно так же, как год назад: — А это, Марина, мой друг — Юра З. Только на месте *мой друг* — что-то — проглочено. (В ту самую секунду, плечом чувствую, Ю. З. отходит.)

Передо мною маленькая девочка. *Знаю*, что Павликина Инфанта! С двумя черными косами, с двумя огромными черными глазами, с пылающими щеками.

Передо мною — живой пожар. Горит все, горит — вся. Горят щеки, горят губы, горят глаза, несгораемо горят в костре рта белые зубы, горят — точно от пламени выются! — ко-

сы, две черных косы, одна на спине, другая на груди, точно одну костром отбросило. И взгляд из этого пожара — такого восхищения, такого отчаяния, такое: боюсь! такое: люблю!

— Разве это бывает? Такие харчевни... метели... любви... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это — было, теперь я знаю, что это — есть. Потому что это — правда — было: вы, действительно, так стояли. Потому что это *вы* стояли. А Старуха — сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом — отметала... заметала след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?..

Бормочет, как сонная. С раскрытыми — дальше нельзя! — глазами — спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня — нет. И когда я, чем-то отпущенная, наконец, оглянулась — действительно, на сцене никого не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно — вышли. Сцена была — наша.

И только тут я заметила, что все еще держу в руке ее ручку.

— О, Марина! Я тогда так испугалась! Так потом плакала... Когда я вас увидела, услышала, так сразу, так безумно полюбила, я поняла, что вас нельзя не полюбить безумно — я сама вас так полюбила сразу.

— А он *не* полюбил.

— Да, и теперь кончено. Я его больше не люблю. Я вас люблю. А его я презираю — за то, что не любит вас — на коленях.

— Сонечка! А вы заметили, как у меня тогда лицо пылало?

— Пылало? Нет. Я еще подумала: какой нежный румянец...

— Значит, внутри пылало, а я боялась — всю сцену — весь театр — всю Москву сожгу. Я тогда думала — из-за него, что ему — его — себя, себя к нему — читаю — перед всеми — в первый раз. Теперь я поняла: оно навстречу вам пылало. Сонечка... Ни меня, ни вас. А любовь все-таки вышла. Наша.

Это был мой последний румянец, в декабре 1918 г. Вся Сонечка — мой последний румянец. С тех приблизительно пор у меня начался тот цвет — нецвет — лица, с которым мало вероятия, что уже когда-нибудь расстанусь — до последнего нецвета.

Пыление ли ей навстречу? Ответ ли ее короткого бессменного пожара?

...Я счастлива, что мой последний румянец пришелся на Сонечку.

— Сонечка, откуда при вашей безумной жизни — не спите, не едите, плачете, любите — у вас этот румянец?

— О, Марина! Да ведь это же — из последних сил!

---

Тут-то и оправдывается первая часть моего эпитафия:

*Elle était pâle — et pourtant rose...<sup>1</sup>*

То есть бледной — от всей беды — она бы быть должна была, но, собрав последние силы — нет! — пылала. Сонечкин румянец был румянец героя. Человека, решившего гореть и греть. Я часто видала ее по утрам, после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, поздней беседы, когда все лица — даже самые молодые — цвета зеленого неба в окне, цвета рассвета. Но нет! Сонечкино маленькое темноглазое лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой уличке, — да, конечно, это был — порт, и она — фонарь, а все мы — тот бедный, бедный матрос, которому уже опять пора на корабль: мыть палубу, глотать волну...

---

<sup>1</sup> Она была бледной — и все-таки розовой... (*фр.*).

Сонечка, пишу тебя на Океане. (О, если бы это могло звучать: «Пишу тебе с Океана», но нет:) — пишу тебя на Океане, на котором ты никогда не была и не будешь. По краям его, а главное, на островах его, живет много черных глаз. Моряки знают.

Elle avait le rire si près des larmes et les larmes si près du rire — quoique je ne me souvienne pas de les avoir vues couler. On aurait dit que ses yeux étaient trop chauds pour les laisser couler, qu'ils les séchaient lors même de leur apparition. C'est pour cela que ces beaux yeux, toujours prêts à pleurer, n'étaient pas des yeux humides, au contraire — des yeux qui, tout en brillant de larmes, donnaient chaud, donnaient l'image, la sensation de la chaleur — et non de l'humidité, puisqu'avec toute sa bonne volonté — mauvaise volonté des autres — elle ne parvenait pas à en laisser couler une seule.

Et pourtant — si!

Belles, belles, telles des raisins égrénés, et je vous jure qu'elles étaient brûlantes, et qu'en la voyant pleurer — on riait de plaisir! C'est peut-être cela qu'on appelle «pleurer à chaudes larmes»? Alors j'en ai vu, moi, une humaine qui les avait vraiment chaudes. Toutes les autres, les miennes, comme celles des autres, sont froides ou tièdes, les siennes étaient brûlantes,

et tant le feu de ses joues était puissant qu'on les voyait tomber — roses. Chaudes comme le sang, rondes comme les perles, salées comme la mer.

...On aurait dit qu'elle pleurait du Mozart<sup>1</sup>.

\* \* \*

А вот, что о Сонечкиных глазах говорит Edmond About в своем чудесном «Roi des Montagnes»:

— Quels yeux elle avait, mon cher Monsieur! Je souhaite pour votre repos que vous n'en rencontriez jamais de pareils. Ils n'étaient ni bleus ni noirs, mais d'une couleur spéciale et personnelle faite exprès pour eux. C'était un brun

---

<sup>1</sup> Ее смех был так близок к слезам — а слезы так близки к смеху, — хотя я не помню, чтобы видела их льющимися. Можно было бы сказать: ее глаза были слишком горячими, чтобы дать слезам пролиться, что они сразу высушивали их. И потому эти прекрасные глаза, всегда готовые плакать, не были влажными, напротив: блестя слезами, они излучали жар, являли собою образ, излучение тепла, а не влажности, ибо при всем своем желании (нежелании — других), ей не удавалось пролить ни единой слезинки.

И все же — !

Прекрасные, прекрасные, подобные виноградинам; и уверяю вас, они были обжигающими, и при виде ее, плачущей, хотелось смеяться — от наслаждения! Это и есть, вероятно — «плакать жаркими слезами»? Значит, я видела человеческое существо, у которого слезы были действительно жаркими. У всех прочих — у меня, у остальных — они холодные или теплые, а у нее были обжигающие, и так был силен жар ее щек, что они казались розовыми. Горячие, как кровь, круглые, как жемчуг, соленые, как море.

Можно было сказать, что она плакала по-моцартовски (*фр.*).